

## Глава 2

### Мой отец — Билль-Белоцерковский

От хедера до английского лайнера. В Америке.

В революции. Столкновение с Троцким.

«Черный глаз» С.М. Буденного.

В литературе. «Шторм», РАПП и Сталин.

«Чучело орла»

Биография отца серьезно повлияла на мою жизнь, исподволь тоже подвела меня к «путешествию в будущее». Поэтому расскажу немного о его жизни, тем более что она была чрезвычайно богата яркими событиями. Матрос русского парусного и английского парового флота на океанских линиях, чернорабочий в Европе и Америке, окномой небоскребов в Нью-Йорке, участник Октябрьской революции и гражданской войны, писатель и драматург, автор знаменитой пьесы «Шторм». Многие считали биографию отца более интересной и захватывающей, чем даже у Джека Лондона. «Приключения» отца хорошо иллюстрируют и ушедшую эпоху (родился он в 1885 году), которая уже начинает бледнеть и стираться в нашей памяти. К примеру, что значит — родиться в 1885 году? В 1902 году, рассказывал отец, в Одессу пришел однажды английский пароход, и посмотреть на него высыпал весь город: пароход был освещен электрическими лампочками! Потом появились радио, самолеты.

Приведу наиболее яркие, запомнившиеся мне эпизоды из жизни отца, которые одновременно характеризуют и его эпоху.

Родился отец в бедной еврейской семье в городе Александрия бывшей Херсонской губернии. Образование — хедер (еврейское учебное заведение: смесь детского сада и начальной школы) и четыре класса церковно-приходской школы. Отец с отвращением вспоминал учебу в хедере, учителем (меламедом) и хозяином которого был психопат и садист. Он, например, никогда не расставался с длинным хлыстом, которым умел доставать учеников даже на задних партах. Однажды, после того как меламед устроил в хедере коллективную порку — уложил всех учеников на парты задницами вверх и стал полосовать их своим хлыстом, отец со старшим братом Сеней решили ночью сжечь хедер, который располагался в небольшом деревянном доме. Подложили под стену сено, хворост и запалили. Дали деру. Утром мать с удивлением увидела, что они не встают, просыпают хедер. С трудом их подняла. Заговорщицки улыбаясь, они отправились «учиться» и вдруг с ужасом увидели, что хедер стоит цел и невредим, только одна стена как бы закопчена. Пожар не занялся!

Старший брат отца умудрился в дальнейшем поступить учиться в мореходное училище, что для еврея было тогда делом очень нелегким, а окончив его, «проник» в военный флот, что было уж совсем редкостным событием. Затем неблагодарный вступил в партию эсеров, участвовал в 1905 году в знаменитом восстании лейтенанта Шмидта и заработал 16 лет каторги, но чачотка сократила срок — свела его в могилу на девятом году заключения. У меня сохранились из отцовского архива фотографии дяди Сени с группой политзаключенных на каторге в Сибири. Я время от времени достаю эти фотографии и рассматриваю лица политкаторжан — интереснейших личностей, интеллигентов, людей какого-то другого народа. Уже в эмиграции, в Мюнхене, я показал эти фотографии директору русской редакции Радио «Свобода»

американцу Джону Лодизину. Он долго всматривался в лица революционеров и вдруг сказал: «Какие интересные люди! Как жалко, что из этого ничего не вышло...»

Сохранилось у отца и письмо дяди Сени с каторги, в котором он описывал жизнь политка-торжан. Я как-то показал его в Москве одному диссиденту. Он был поражен, насколько лучше и человечнее были условия на царской каторге по сравнению с лагерями даже времен Брежнева, загорелся идеей напечатать письмо в «Хронике текущих событий». Я дал согласие (отца уже не было в живых), но вскоре тогдашние коллеги нынешнего президента начали очередной виток репрессий, нанесли удар по «Хронике», и осуществить публикацию не удалось.

Но вернусь к биографии отца. Вслед за старшим братом и он подался в море — юнгой на парусную шхуну. В 16 лет. Фактически бежал из дома. Говорил, что повлияло на него и чтение Фенимора Купера и Майн-Рида. Заболел романтикой в душном местечковом быту. Перед побегом усиленно занимался гириями — качал мускулы. Отец моего отца, мой дед, лесничий и мелкий маклер, домашний тиран и самодур, огромного, между прочем, роста человек, имевший в городе прозвище «полтора жиды», не раз мазал гири отца дерьмом, чтобы его сын не занимался нееврейским делом! И вот при таких-то исходных условиях, отец, добравшись пешком до Херсона, нанялся там юнгой на грузовую парусную шхуну. В 16, не забудем, лет! Отец вспоминал, как после одной аварии на шхуне ночью услышал в кубрике тихий разговор насчет того, что уж не «жидок ли наш» приносит нам несчастья, не стукнуть ли его, да за борт? Однако шкипер эту идею не одобрил.

Через год плавания отец стал уже настоящим матросом. Самой тяжелой и в то же время самой романтичной была работа с парусами — собирать или распускать их, лежа животом на рее и раскачиваясь вместе с мачтой. Во время шторма амплитуда достигала колоссальных размахов. На этой работе отец накачал себе такие руки и пресс, что потом в Америке, где он обучился боксу, получил приглашение стать профессиональным боксером.

После четырех лет хождения на шхунах по Черному морю отцу захотелось увидеть мир — настоящую романтику! В Одессе в портовом кабачке он угостил трех матросов с английского корабля, и они спрятали отца в угольном трюме, приносили ему есть и пить, а когда корабль прошел Босфор и Дарданеллы, представили его капитану, и тот зачислил отца матросом. Это была обычная практика. В английском торговом флоте команды формировались из матросов самых разных национальностей, только командный состав был английским.

На английских кораблях, плавая на океанских линиях из Англии в Африку и Австралию, отец познавал мир и приобретал, как он говорил, «классовое сознание». Сам был объектом жестокой эксплуатации и наблюдал, как еще более жестоко эксплуатировали аборигенов в колониях. Романтики вокруг по-прежнему было мало! «Свет красив для тех, кто путешествует в каютах, а не в кубриках!» — вспоминал отец слова матроса, с которым плавал.

В одном из рейсов отец столкнулся с ненавистью английского боцмана, который возненавидел русских после того, как его избили в Одессе русские моряки. Боцман начал придирается к отцу, издеваться. Хотел выжить его с корабля. Дело дошло до драки, и боцман, хорошо владевший боксом, сломал отцу нос. Отец тогда боксировать еще не умел. Но в следующей драке он изловчился завалить боцмана спиной на раскаленную печку. Кончилось тем, что на берег сошел боцман. Корабельный фельдшер поставил отцу нос на место, но перелом остался заметен на всю жизнь. Эта история описана отцом в его рассказе «Дикий рейс».

В 1911 году отец сошел на берег — в США. Как бывший матрос парусного флота, не боявшийся высоты, получил работу окномоя небоскребов. Тогда еще окномои-высотники работали без люлек. Вылезали из окна, пристегивались ремнями к специальным кольцам в рамах и, откинувшись на ремнях — спиной над бездной, мыли стекла.

Однажды отцу надоело вылезать и влезать в окна, и он попробовал пройти от окна к окну по карнизу, но для этого надо было снять страховочный ремень с кольца. Все бы обошлось, но от напряжения ногу схватила судорога: дело было все-таки на каком-то 90-м этаже. Отец постоял, превозмог боль и дошел до соседнего окна. Но его заметили из небоскреба напротив, подняли тревогу. Кончилось все увольнением. Описана эта история в знаменитом рассказе «Монотонность», который часто читался с эстрады в популярном раньше жанре художественного чтения.

С вершин небоскребов отец спустился в холлы фешенебельных отелей натирать бальные полы. Их надо было увлажнять эфиром, потом специальными щетками драить добела и покрывать лаком, так что пол превращался в зеркало, в котором отражались люстры, дамы и господа, их наряды и бриллианты, которыми украшались даже туфли женщин.

— А у нас, полотеров, — рассказывал отец, — от паров эфира иногда после работы шла кровь из носа и кружилась голова: во время работы нельзя было открывать окна, чтобы пары эфира быстро не улечивались.

Полотер, работавший вместе с отцом, спросил его однажды, оттирая пот со лба, как называются самые лучшие бриллианты?

— Чистой воды, — ответил отец.

— Нет, — возразил его товарищ, — чистого пота!

Английский флот и жизнь в Америке сделали меня интернационалистом, — говорил отец. Команды английских кораблей состояются из людей различных национальностей, а США — страна эмигрантов со всего света.

Вот запомнившийся эпизод. На каком-то митинге отец разговорился с незнакомым рабочим и в конце разговора спросил его, какой он национальности? Рабочий посмотрел на отца с удивлением и ответил, усмехаясь: «По национальности я — рабочий!» — «А все-таки?» — не унимался отец. И тогда рабочий вышел из себя, бросил оземь свою кепку и с горечью воскликнул: «Гадд дем! (Проклятие!) Ничего не выйдет, если раб начнет интересоваться национальностью раба».

Сближаясь с людьми различных национальностей, отец со временем обнаруживал, что национальные особенности представляют собой тонкий поверхностный слой психики, мало определяющий поведение людей, разве только манеры. Серьезнее были региональные различия: люди северных стран и южных, развитых и отсталых, западных и восточных.

К концу своего пребывания в Америке отец, как я уже говорил, сблизился с американской рабочей партией анархо-синдикалистов «Индустриальные рабочие мира», возглавлявшейся тогда Билом Хейвудом, о котором он отзывался с большой теплотой.

Отец вспоминал, как на одном из митингов синдикалистов после выступления Била Хейвуда люди, аплодируя, стали кричать ему: «Бил! Веди нас в землю обетованную!» — «Вы с ума сошли!» — сказал им в ответ Хейвуд. — Вы должны сами искать путь. Если вы будете слепо идти за лидером, то рано или поздно кто-нибудь уведет вас совсем в другую сторону!».

— Русские революционные вожди, — комментировал отец, — на подобной возможности внимание не акцентировали!

Рассказывая мне еще задолго до всяких оттепелей о борьбе Сталина за власть и об оппортунизме помогавших Сталину вождей (Зиновьева, Каменева и других), отец часто приговаривал: «Американские анархисты были правы: вожди — всегда большое говно! Вот они и погубили нашу революцию!».

С уважением отец относился только к Ленину, с оговорками хорошо отзывался о Шляпникове, Луначарском, Рыкове.

После начала Февральской революции в России отец решил возвращаться на родину вместе с группой русских эмигрантов-социалистов. Последнее перед тем время он работал в Голливуде, в цеху проявления лент, прилично зарабатывал и подкопил денег. В России, надеялся он, впервые в мире появилась возможность успешной борьбы за освобождение народа от всяческой эксплуатации, за социализм, и перспектива участвовать в этой борьбе прельщала его.

В архиве отца хранилась листовка американских социалистов, выпущенная по случаю возвращения их русских товарищей на родину. «Если вы едете в Россию, — напутствовали они возвращавшихся, — помогать устанавливать на вашей родине демократию наподобие нашей американской, то мы желаем вам, чтобы ваш пароход утонул в океане!».

Совершив путешествие на поезде от Владивостока, куда пришел пароход из Америки, до Москвы, отец бросил в Москве якорь, так как туда переехали к тому времени его сестра и младший брат. Сестра оказалась сторонницей партии кадетов, а брат — толстовцем, однако добровольно пошедшим в 1914 году в армию, чтобы «защищать русскую культуру от немецких варваров», как он объяснил отцу.

Вот как описывает отец в своей авто-биографии атмосферу в предреволюционной Москве.<sup>1</sup>

«Москва — кипящий котел. На предприятиях, в казармах, на площадях, на улицах, бульварах, в магазинах, трамваях, на базарах, в семьях — всюду горячие споры. Москва — сплошной митинг.

...Однажды я, очутившись на Театральной площади, выручил пожилого интеллигента, которого душил под одобрительные возгласы сочувствующих какой-то охотнорядец.

— Я тебе покажу, большевистская твоя душа! — скрипел он зубами.

Я ринулся к этому типу и «хуком» в челюсть сшиб его с ног.

— Убил! Убил! — заорали в толпе. В действительности это был только нокаут.

К нам метнулось несколько человек. Среди них франтоватый офицер.

— Ты что это делаешь, мерзавец! — завопил он на меня и стал расстегивать кобуру.

— Бей! Стреляй в него! — раздались голоса.

— Отставить! — услышал я вдруг твердый голос, и коренастая фигура другого офицера застопорила меня.

— Не смей! На безоружного нападать?! Бульварный герой! — кричал мой защитник, на груди которого я увидел георгиевскую ленту».

<sup>1</sup>Избранные произведения. М., 1962. Т.1.

В Москве, как я уже говорил, отца мобилизовали в армию, в 56-й расквартированный в Москве полк. Сначала отца зачислили в шестую роту полка, но потом из-за малого роста (роты формировались с учетом роста солдат) перевели в девятую роту, что впоследствии спасло его от смерти.

Отец с головой погружается в бурную предреволюционную жизнь. Недолго поколебавшись, он вступает в партию большевиков, которая представилась ему среди всех левых партий наиболее достойной доверия, наиболее революционной.

Вскоре большевистская ячейка полка выдвигает отца кандидатом в депутаты в Московский совет, и на выборах он побеждает кандидатов от других партий, в основном офицеров. Солдаты голосуют за отца, несмотря на то что он только что вернулся из-за границы и еще говорит с иностранным акцентом.

В то же время отец успевает закончить «Солдатский университет» при Моссовете. У меня сохранилась фотография выпускников этого университета, солдат и младших офицеров, вместе с их штатскими преподавателями. И вновь — какие лица, какие люди!

Тяга к знаниям, к информации, рассказывал отец, была удивительной. За газетами, брошюрами выстраивались огромные очереди. В свободное время читали почти все. Даже ночами!

Незадолго до Октябрьского восстания отец по поручению солдат-большевиков пишет свою первую листовку-резолюцию. Она занимает всего одну страничку. В начале ее стоят требования, характерные своею наивной глобальностью:

«Мы, солдаты 56-го пехотного полка требуем 1) Немедленной ликвидации войны ... 4) Передачи всей власти Советам Солдатских, Рабочих и Крестьянских депутатов, 5) Скорейшего созыва Учредительного собрания».

А вторая половина пронизана революционным пафосом:

«Пролетарии! Рабочие и крестьяне в солдатских шинелях всех стран и национальностей! С начала войны всю вашу силу, отвагу и жизнь вы отдали на службу господствующим классам. Тяжесть и безумие войны, позорящей род человеческий, открыли вам глаза на действительность. Теперь вы должны начать борьбу за свое собственное дело, за священную цель социализма, за любовь и братство трудящихся народов, за освобождение подавленных и поработанных народов путем непримиримой пролетарской борьбы. Рабочие и работницы! Матери и отцы! Вдовы и сестры! Раненые и искалеченные! Ко всем вам, кто страдает от войны и через войну, ко всем вам взываем! Через границы, через дымящиеся поля, через разрушенные города и деревни! Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

И вот наступил октябрь 17-го. Канун восстания. Снова из автобиографии отца:

«Никогда не забыть мне последней ночи перед восстанием! По улицам, торопливо шагая, движутся в разных направлениях части юнкеров и солдат, скрытно друг от друга занимая позиции. И в напряженной, подозрительной тишине, придавившей город, шаги их подкованных сапог разносятся гулко. В окнах нигде нет света.... Город замер в ожидании...

Я остро ощущал в тот момент, как надвигается огромное, мировое событие и что судьба его лежит в моих руках, буквально на спусковом крючке моей винтовки.

Еще было все как всегда, еще грань, отделяющая старое, привычное, всегдашнее от неведомого, оставалась... И вдруг (я находился в это время на Скобелевской площади, ныне Советской) ночную тишину разорвал залп. Он раздался там, где была Красная площадь.

«Началось!» — сказал кто-то рядом со мной, и лица у людей стали удивительно серьезными. Как потом узналось, рота солдат Двинского полка на Красной площади была задержана цепью юнкеров. Солдатам приказали сдать оружие. Двинцы дали залп и бросились в штыки».

Мерзкое это явление — равнодушное привыкание! Ну, была то ли революция, то ли переворот... Одни ее восхваляют, другие клянут, и никто не задумается — какое это было странное, удивительное событие! Люди низших сословий, привыкшие быть подчиненными, управляемыми, холопами, многие поколения в таком состоянии пребывавшие, вдруг без какого-либо харизматического лидера, как то было в Москве (Ленин — это было далеко, и телевидения тогда не существовало!), осмеливаются посягнуть на власть. Да, конечно, были тому причины — продолжавшаяся непопулярная война, жажда земли у крестьян, пропаганда большевиков, левых эсеров, но этим, если вдуматься, трудно объяснить, как решились холопы, недавние крепостные, попытаться устранить Начальство, Хозяев, Господ, под которыми привыкли жить от века. И вдруг — жить без них, самим все решать! Ведь в течение кратчайшего времени, одной-двух недель, почти по всей гигантской стране власть взяли эти холопы, смерды. Социо-психологи должны были бы исследовать этот феномен. Но большевики такое исследование посчитали бы ненужным: что тут удивительного? Классовая борьба! Антибольшевики тоже не желали видеть тут никакого чуда: происки немецких агентов, еврейский заговор и т. д. А чудо-то имело место, самое настоящее.

В 1991 году такой смелости, как в Октябрьскую революцию, никто уже не проявил: оставили у власти старое начальство, партийно-хозяйственную и силовую номенклатуру — «подлецов и насильников по природе своей», как в «Завещании» характеризовал Ленин их предшественников. Без них не решились жить. Новый руководящий класс на 80% сформировался из старого. Почему люди за Ельцина горой стояли? Из-за его тогдашнего демагогического популизма? Только отчасти. Главное, уверен, он очень многим напоминал привычных начальников, один голос чего стоил! А в 17-м: если на господина похож — долой!

В очерке «Октябрь в Москве» отец вспоминает: «Дело осложняется тем, что у нас не хватает командиров. Офицеров — считанные единицы, это преимущественно прапорщики, солдаты выбирают командиров из своей среды...

Дисциплина в это время проявлялась своеобразно. Рядовой солдат, шагая за спиной своего товарища, тоже рядового, распекает его:

— Тебя выбрали командиром, а ты черт знает где шатаешься!

Солдат-командир смущенно оправдывается».

...Отцу задело пулей ногу. Он спускается в подвал здания Моссовета, где медицинская сестра перевязывает ему рану. «Эта сестра сама, добровольно явилась в помещение штаба со своими бинтами и йодом и в закутке подвала организовала перевязочный пункт... Так же появился откуда-то пожарный со свернутым шлангом на спине, которого никто не звал. И когда начался от артобстрела пожар, погасил его, лишившись при этом глаза... Пришел неизвестно откуда молодой скромный пулеметчик со своим пулеметом и умело нашел ему место. Кто-то самостоятельно организовал походную кухню, кто-то раздобыл винтовки, патроны, кто-то раздавал их».

И ведь как пришли, так могли и уйти! «Каждый мог уйти от событий в любой момент (были и такие)...» — вспоминал отец.

И надо иметь в виду еще одно очень важное обстоятельство: никто ведь не знал, чем кончится дело! Никто. От Ленина до последнего красногвардейца.

— Это сейчас, — говорил отец, — кажется, что революция не могла кончиться иначе, как победой, а когда мы ее начинали, то перспектива парижских коммунаров или пугачевских казаков стояла перед нами едва ли не более весомо, чем возможность победы!

И тем не менее большинство оставалось «в строю». И это еще одна грань чуда.

Бои в Москве шли около двух недель, и где-то в середине боев произошло трагическое событие, жертвами которого стали товарищи отца по полку. Шестая рота 56-го полка, в которую отца поначалу было распределили, занимала одно из внутренних зданий в Кремле, в то время как юнкера находились там на остальной территории. Так получилось в хаосе предоктябрьских передвижений: шестая рота вошла в Кремль, а за нею — юнкера...

В разгар боев руководители белых и красных заключили перемирие и начали переговоры. Стрельба в городе прекратилась. И тогда командование юнкеров в Кремле объявило командиру шестой роты, что красные в городе сложили оружие, и ультимативно потребовало сделать то же самое. Рота ультиматум приняла, вышла из здания и сложила оружие. После этого белые выкатили пулеметы и всю роту покосили. (В Кремле на этом здании до сих пор висит мемориальная доска с именами погибших тогда солдат.)

Несмотря на это большевики после победы в Москве, как и в Питере, обезоружив юнкеров, распустили их по домам. Революционеры поначалу бывают великодушнее своих противников, победив в первом бою, они начинают верить в свою окончательную победу и впадают в эйфорию.

Во время перемирия до восставших солдат стали доходить известия, что белые используют прекращение огня для укрепления своего положения, ведут перегруппировку, занимают новые позиции. Среди солдат и красногвардейцев вспыхнуло возмущение затяжкой переговоров. К зданию, в котором они проводились, солдаты подкатили орудие и сообщили своим представителям, что если они немедленно не прекратят переговоры, то пошлют к ним в зал снаряд. Переговорщики, рассказывал отец, как горох, посыпались вон — красные и белые вперемешку. Бои возобновились.

К Моссовету подвезли две трехдюймовые гаубицы. (Потом эти гаубицы стояли в палисаднике около Музея Революции на ул. Горького.) Одну направили вниз по Тверской, другую — вверх. Первое орудие решили пристрелять и дали залп по углу дома, где теперь Центральный телеграф, — отвалили угол. Отец был ранен в тот момент, когда белые, прорвавшись от Столешникова переулочка, пытались орудия отбить. Отец и группа солдат стреляли по нападавшим из подъезда дома, на месте которого стоит теперь здание с грузинским рестораном «Арагви». Отец из первого ряда стрелял с колена, а сзади него солдаты стреляли стоя, и пуля, задевшая икру ноги отца, раздробила кость ноги стоявшего позади солдата.

Еще из рассказов отца запомнилось, как в один из дней он с большой группой солдат ехал в кузове грузовика то ли выбивать белых из какого-то здания, то ли на подмогу своим, которых белые выбивали. В кузов залезло так много солдат, что все стояли, тесно прижавшись друг к другу. И вдруг солдат рядом с отцом стал оседать, привалившись головой к его лицу. Отец понял, что он убит наповал пулей, выпущенной по грузовику. «Гнетущее недоумение

преследовало меня в те дни от частых случаев гибели людей прямо на глазах: был человек — и вмиг не стало», — вспоминал отец.

В последнюю ночь боев отец получил приказ доставить в штаб белых ультиматум о капитуляции. Отцу дали машину Красного Креста с шофером-красногвардейцем. В кузове поместились два «вражеских» парламентаря — переодетые в солдатское офицеры. В кромешной тьме, не зажигая фар, машина медленно двинулась по направлению к Арбату, к Александровскому военному училищу (ныне — Генштаб), в котором помещался штаб белых. Время от времени машину задерживали красные часовые, и отец кричал им: «Свои! Большевики!» — и предъявлял пропуск.

Несколько раз возле машины начиналась стрельба, пули посвистывали иногда близко от кабины.

На Арбатской площади вновь засвистели пули, машина наскочила на труп и, завизжав тормозами, остановилась. «Стой! Выходи!» — закричали из темноты, и уже по голосам отец понял, что это «чужие», юнкера. Теперь выскочили из кузова офицеры-парламентаря, предъявили свой пропуск.

В Александровском училище появление отца в сопровождении парламентарей вызвало переполох, раздались крики: «Большевик! Попался!». Пожилой парламентарь взял у отца пакет с ультиматумом и помчался с ним вверх по лестнице, молодой — усадил отца на стул и поставил около него для охраны двух юнкеров с винтовками, которым один раз пришлось штыками преградить дорогу горячему офицеру, видимо пьяному, попытавшемуся с обнаженной саблей броситься на отца.

Один раз где-то неподалеку началась стрельба. Щелкая затворами винтовок, юнкера стремглав выбегали из здания.

Через некоторое время донеслись голоса: «На собрание!». Вестибюль опустел. Остались только часовые и дежурный. Вдруг в комнате, где проходило собрание, взорвались возмущенные крики. Отец услышал чей-то начальственный голос:

— Молчать! Разойтись! Это вам не большевистская сходка!

Из комнаты шумно повалили офицеры. Кто-то истерически кричал:

— Продали! За тридцать сребреников продали!

Отец понял, что ультиматум принят.

Сопровождаемый небольшой свитой, появился полковник в сером френче. Он шел, не глядя по сторонам. Отец догадался, что это полковник Константин Рябцев, командующий силами белых в Москве. К отцу подошел старший парламентарь и торопливо сказал, что надо ехать в Думу. Там ждали ответа представители Военно-революционного комитета. Полковник Рябцев со свитой втиснулись в кузов машины Красного Креста, отец, как и прежде, забрался в кабину.

В «Энциклопедии Великой Октябрьской Социалистической революции» сообщается, что полковник К. Рябцев в 1919 году был в Харькове арестован белыми по обвинению в выступлении против генерала Корнилова и «в недостаточно активной борьбе с большевиками в Октябрьские дни», и вскоре был убит.<sup>1</sup>

<sup>1</sup>М., 1987. 3-е изд. С.448

В январе 1918 года отца выбрали делегатом на 3-й Всероссийский съезд Советов. Отец был удивлен культурностью кадровых рабочих, делегатов съезда, с которыми вместе жил в гостинице. Рабочие утром и вечером чистили зубы, рассказывал отец, подметали свои номера, не пили, здоровались при встрече, были спокойными, вежливыми, интеллигентными. К сожалению, большинство из них не пережили Гражданскую войну, слишком их мало было тогда в России, и на смену им пришла «деревня», сокрушался отец.

В короткое время, когда отец находился в Москве после окончания боев, он нашел время заняться публицистикой. Написал несколько статей и даже стихотворение в прозе, которые были напечатаны в «Правде». В статьях он бичевал капиталистическую эксплуатацию на Западе, разносил «буржуазную демократию» и «буржуазную культуру», выступил с разоблачением американской «Армии спасения», начавшей тогда работать в России. В Америке отец сталкивался с «Армией спасения» и считал, что она занимается главным образом борьбой против рабочего движения и профсоюзов. Он гордился тем, что эту статью передали Крупской, и она показала ее Ленину, а потом сообщила, что «статья Владимиру Ильичу понравилась».

Статьи отца того времени были абстрактны и грубо примитивны, однако содержали в себе мощный энергетический заряд. И дело здесь, думаю, не только в темпераменте отца. Энергия была тогда, видимо, разлита в воздухе. Как и нигилизм по отношению к «старой культуре». Он, как известно, захватил тогда и высокообразованных деятелей искусства и литературы, которые запросто «сбрасывали с корабля современности» всяких там пушкиных.

Сделаю важное примечание к вопросу об «Армии спасения». После голода в 1921 году Ленин официально поблагодарил «Армию спасения» за помощь голодающим, как благодарил за это и за иную помощь и ряд других американских благотворительных организаций, включая еврейский фонд «Джойнт». При Сталине многих еврейских деятелей культуры расстреляли по обвинению в работе на «Джойнт».

Отца явно тянуло к писательству. Уже в США он начал «марать бумагу» — что-то сочинять. В архиве у отца оставалась старая толстая тетрадь с его первыми опусами. Я видел ее недавно в литературном архиве (РГАЛИ). В Симбирске, как я уже говорил, отец написал и опубликовал два маленьких сборника рассказов по мотивам своей прежней жизни. Они тоже были весьма примитивны, но, на мой взгляд, отмечены талантом и силой. Молодой варварской силой! И уже замаячил перед отцом театр. В 1919 году в Симбирске он инсценировал один из своих первых рассказов «Бифштекс с кровью», и эта инсценировка получила вторую премию на всероссийском конкурсе. В 1920-м отец пишет свои первые пьесы: «Этапы» и «Эхо». Последняя была поставлена на столичной сцене — в театре им. Революции.

Однако самым ярким событием симбирского периода, на мой взгляд, была встреча отца с Троцким, во время которой отец во всю силу проявил свой американско-анархистский характер. Троцкий приплыл в Симбирск на пароходе в 20-м, если не ошибаюсь, году вместе с Роменом Ролланом. В программу их знакомства с городом входило и выступление гостей перед городским Советом. Первым должен был выступить Троцкий. Отец встречал высоких гостей как глава города и провел их в комнату за сценой.

О том, что там произошло, моей матери рассказывала жена Иосифа Варейкиса (ее муж был тогда председателем горсовета Симбирска), присутствовавшая при встрече Троцкого с отцом.

Стояли холодные осенние дни, здание Совета не отапливалось, и никто, ни гости, ни хозяева не снимали пальто. Троцкий стоял в накинутой на плечи шинели и разговаривал с отцом в ожидании приглашения на сцену, в президиум. И когда приглашение последовало, Троцкий повернулся к выходу на сцену и сбросил с плеч шинель в уверенности, что стоявший рядом отец подхватит ее, но тот убрал руки за спину.

— У всех в комнате дух захватило, — вспоминала жена Варейкиса, — что же сейчас будет?!

Троцкий, напомним, был тогда вторым после Ленина человеком в стране, грозным наркомом обороны и главнокомандующим всеми родами войск Красной Армии.

Почувствовав, что отец шинель не подхватывает, Троцкий успел схватить ее за спиной, когда она уже пролетала мимо его заднего места, и гневно-вопросительно взглянул на отца, сверкнув стеклами пенсне. Белоцерковский, рассказывала Варейкис, тоже впери в него свой «гневно-принципиальный» взгляд: «Мы не для того революцию делали!» — и не шелохнулся. Троцкий вынужден был сам бросить шинель на стул у стены и прошел на сцену.

— Если бы Троцкий, — говорил мне отец, рассказывая о борьбе вождей (которые «всегда большое говно!»), — победил Сталина, то он тоже наверное стал бы диктатором, хотя был, конечно, намного умнее Сталина.

Из рассказов отца о времени НЭПа мне запомнился яркий эпизод встречи отца со Сталиным. На улице! Сталин большую часть своего рабочего времени проводил в здании ЦК на Старой площади и оттуда часто ходил пешком в Кремль, где он жил. Ходил по улице, сейчас это, видимо, Ильинка (а, может быть, это была Варварка?), на которой находилось что-то вроде биржи. Отец, помнится, называл ее «золотой биржей».

И вот около этой биржи отец однажды повстречался со Сталиным. Сталин шел неспешно в своей знаменитой солдатской шинели, о чем-то сосредоточенно думая и ни на кого не глядя. Шел, видимо, без охраны. На тротуаре около биржи всегда толпились разные буржуазные элементы, брокеры и прочие «нэпманы», и Сталин двигался через их толпу. Нэпманы, вспоминал отец, узнавали его, отводили глаза, но... освобождали ему дорогу. Создавался этаким коридор, по которому и шел Сталин.

— Нэпманы, — комментировал отец, — не догадывались, кому они уступали дорогу! Своему могильщику, который через несколько лет разгонит их биржи, реквизирует их золото и бриллианты, а потом и многих из них упрячет в места не столь отдаленные...

А я думал, вот пока не начал Сталин свой террор, войну с народом — не боялся ходить без охраны. А потом — будет ездить «на шести машинах», чуть ли не с двойниками!

С моей матерью отец познакомился в Симбирске. В больнице. Жизнь была голодной, главной пищей была вобла. «Вобла революцию спасла!» — говаривал отец. Он, разумеется, не позволял себе никакого «властного» приварка к пайку и, заболев какой-то странной болезнью желудка, попал в больницу, где мать работала медсестрой. Матери было тогда 19 лет, отцу — 34.

Биография матери простая, но не без романтики. Родилась в селе Михайлов Погост Великолуцкого уезда Псковской губернии в семье деревенского сапожника — единственной еврейской семье в округе. Как семья матери попала в такую русскую глубинку и откуда, я, увы, не

знаю. (А надо было бы дознаться, но инфантильность помешала.) Видимо, когда-то давно предки матери туда перекочевали из Германии. (В то время как отцовский род идет из Испании.) В Великих Луках мать без проблем поступила в гимназию, благо других претендентов на заполнение «процентной нормы» для евреев не было, в 1917 году окончила ее и где-то между двумя революциями уехала учиться в Саратов, в медицинский институт. Почему в Саратов — к своему стыду, тоже не знаю. Но успела окончить только первый курс. Началась Гражданская война, эпидемия тифа, и всех студентов разбросали по волжским городам, по госпиталям. Так мать и оказалась в Симбирске.

Вскоре после Гражданской войны, когда отец с матерью приехали из Симбирска в Москву, поздно вечером в темном арбатском переулке на них напало пятеро или шестеро молодых уголовников: хотели, видимо, поживиться, у матери сумочку вырвать, а может, что и похуже. Мама рассказывала, что она и оглянуться не успела, как двое из нападавших уже лежали на земле, сбитые ударами отца, третий нарвался на прямой удар в нос, и упал, обливаясь кровью. Тут мать увидела нож в руках одного из нападавших и закричала. Отец обернулся и, отразив руку с ножом, свалил и этого негодяя. И вся банда ударилась в паническое бегство.

И на такое был способен отец.

Но самым большим подвигом отца был, на мой взгляд, его уход от партийной карьеры, которая складывалась у него очень успешно. Даже будучи еще несмышленным юнцом, я с каким-то особым чувством уважения разглядывал удивительный документ: на бланке ЦК ВКПб сообщалось о предоставлении отцу «бессрочного творческого отпуска для занятия литературой». Повзрослев, я понял, что это — уникальная бумага! Действительно, много ли было в истории случаев, когда люди добровольно, ради творчества, отказывались от пребывания во власти, от властной карьеры?

Между прочим, когда отец работал в орготделе ЦК (на своей последней партийной работе), вместе с ним там трудился не кто иной, как Ежов! Отец, показывая мне его на коллективной фотографии сотрудников орготдела (руководил им в тот момент Л. Каганович), сокрушался:

— Ходил такой тихенький, плюгавенький. Мышь серая! Если бы я знал, что из него выйдет, — застрелил!

С «занятием литературой» связана история появления псевдонимной приставки «Билль» к фамилии отца. В двадцатые годы в России появился еще один писатель Белоцерковский, и отцу в связи с этим посоветовали придумать себе псевдоним. На Западе, начиная с английского флота, отца звали «Билл». Фамилия Белоцерковский для англо-саксов была нестерпимо длинной, и они сокращали ее по первым трем буквам — Бел, что по-английски читается как Билл. И отец решил приставить это имя к своей фамилии, русифицировав его с помощью мягкого знака.

После ухода отца с партийной работы он до 1929 года продолжал жить в «Пятом доме Советов» в переулке Грановского, в котором жили партийные работники и почти все лидеры партии. В этом доме я и родился в сентябре 1928 года. И во дворе этого дома Семен Михайлович Буденный предрек однажды мою судьбу.

Въехав во двор на своем знаменитом коне, он увидел мою маму, гулявшую с коляской, в которой я тогда пребывал, подкрутил свои знаменитые усы — мама, видимо, показалась ему достойной внимания! — и, заглянув с коня в коляску, изрек: «Гарный казак будет!». Так вот я и казакою всю жизнь, по-нынешнему — диссидентствую. Наворожил, злодей!

Злодеем он был, между прочим, самым настоящим. Вскоре после описанного эпизода застрелил свою боевую жену, казачку, прошедшую с ним всю Гражданскую войну. Отец рассказывал, как однажды поздно вечером в подъезде, где мы жили и где выше жил Буденный, начался шум, какое-то тревожное движение. Отец открыл дверь на лестничную площадку, по лестнице бегали военные, штатские, врачи. Один из штатских приказал отцу закрыть дверь. Потом отец узнал, что жена Буденного устроила ему в тот вечер очередную сцену ревности по поводу связи с какой-то балериной. Славный командарм взял подушку, чтобы не шумно было, и через нее жену застрелил. Сталин дело успешно замаял, и этот подвиг Буденного очень мало кому известен.

Читатель понимает, что быть сыном такого отца, как мой, дело нелегкое. В юности, чтобы подтянуться к его уровню, я всячески пытался закалять свою волю и смелость: прыгал с большой высоты, лез в драку (иногда без особой нужды!), в эвакуации переплывал Каму, едва не утонув...

Когда мне было лет восемь, отец, увидев из окна, что я на улице с кем-то подрался, вышел на балкон и стал кричать мне: «Бей, как я тебя учил!».

Особо благодарен я отцу за то, что он подзадорил меня на даче залезать на высокие сосны, чтобы спиливать сухие сучья, что было только поводом. Я подставлял к стволу трехметровую стремянку, так как внизу стволы были совершенно гладкими, и, поднявшись по ней до первых сучков-пупырышков, начинал по ним карабкаться вверх, опираясь на эти пупырышки ногами и обхватив ствол руками. Ножовку, чтобы спиливать сухие сучья, я подвязывал к поясу. Мне было тогда лет 16 или 17. Отец, лежа себе спокойно внизу в шезлонге, координировал мой подъем и спуск: куда ногу ставить — левее, правее, еще чуть выше, пониже! И подбадривал: «Не бойся! Сучки у основания очень прочные». Мать при этом всегда уходила в дом, чтобы не видеть «этого безобразия».

Когда я добирался до зеленых ветвей, напряжение страха сменялось блаженством. По твердым ветвям я легко вылезал на самую вершину сосны, которая всегда раскачивалась от ветра, как мачта парусного судна. Там я садился на сук и отдыхал, наслаждаясь невообразимой красотой окружавших меня зеленых сосновых вершин под голубым небом. Земли сквозь ветви не было видно совершенно, и это была какая-то другая планета. Иногда на соседних вершинах сидели красавцы дятлы в красных шапочках и с красными животиками, которые с любопытством смотрели на меня. Я вспоминаю те картины, как счастливый цветной сон, превосходящий своей сказочной яркостью реальную жизнь.

И сейчас, глядя на сосны, с трудом самому себе верю, что когда-то залезал на них. Вот куда я хотел бы вернуться!

Расскажу вкратце о литературной карьере отца. Он написал 14 пьес и том рассказов из западной и морской жизни. Некоторые из его пьес шли за границей. В Германии на рубеже 30-х годов большим успехом пользовалась комедия «Луна слева». Впервые ее поставил в Берлине известный немецкий режиссер Эрвин Пискатор, а потом она шла и во многих других немец-

ких театрах. У нас дома хранился толстый альбом вырезок из немецких газет с рецензиями на эту пьесу.

Но самое выдающееся произведение отца — пьеса «Шторм». В

20-е годы она шла по всей стране, а потом и за рубежом. В архиве отца я нашел журнал «Театр» за 1928, кажется, год. Там был напечатан список наиболее «гонимых» писателей, и возглавлял его отец! А конкуренция тогда была мощная. В выборе репертуара театры были совершенно свободны — широко шла классика и много кассовых, развеселых штучек. Во МХАТе, к примеру, блистала пьеса под названием «Сара хочет негра». И там же шла «Белая гвардия» Булгакова. Но со «Штормом» тогда никто не мог конкурировать.

Читатель только должен иметь в виду, что партийный писатель обязан был 60% гонорара отдавать в качестве партналога! Тогда еще существовал «партмаксимум», и партийный директор завода зарабатывал примерно в два раза меньше беспартийного.

В «Шторме» зрителей больше всего привлекал революционный матрос Братишка. Дух американских анархистов, сплавленный с характером самого отца, воплотился в этом образе. Братишка, если всмотреться, не был российским персонажем. Занимая должность секретаря-делопроизводителя при председателе Укома (уездного комитета) партии, он держит себя по отношению к нему совершенно независимо, на равных, делает ему замечания, и при этом их связывает суровая мужская дружба. А вот прибывшего из центра ответственного работника Братишка попросту терроризирует: заставляет стать в очередь и на возмущенные слова «ответственного», что в уездном масштабе он все равно что вождь, дает свою знаменитую реплику: «А может, вошь?». (В послевоенной постановке «Шторма» этой реплики, конечно, уже не было!) Интересно, что первое название пьесы было «Вошь»! И потому, что вошь, тиф были «главными врагами революции», и потому, что еще большими врагами, по мнению отца, были всякого рода вожди! Но отца в театре уломали изменить такое неаппетитное название.

И если нерусского происхождения был Братишка, революционный матрос-инвалид (вместо одной ноги — деревяшка), то почему же он так нравился русской публике? Братишку повсюду провожали овациями. Даже Солженицын в «Круге первом» пишет, что после «Шторма» ни одна пьеса о революции и Гражданской войне не могла рассчитывать на успех без матроса Братишки. Революционный матрос был центральным персонажем в «Любови Яровой» К. Тренева, «Бронепоезде 14-69» В. Иванова, «Оптимистической трагедии» Лавренева и т. д. Но, как и всякая копия, эти матросы не дотягивали по яркости до оригинала.

И вероятно потому так нравился публике отцовский Братишка, что он олицетворял дефицитные в России во все времена качества — личное достоинство, внутреннюю свободу, независимость. Братишка, как и его прототип, не был человеком толпы, массы. По той же причине завораживают нас и герои Хемингуэя.

И в то же время Братишка был остроумным народным героем, типа Теркина у Твардовского. В «Шторме» было много сочных персонажей (Раневская с ролью спекулянтки изъездила с сольными концертами всю страну), но Братишка был центром, главной жемчужиной пьесы. Как удалось отцу, родившемуся на Украине, в еврейской семье и столь много времени жившему вне России, схватить народный русский язык и юмор, я не понимаю. Видимо, было в нем зерно гениальности.

Но «Шторм» и в целом был значительным произведением. Пьеса написана убежденным революционером, который не считал нужным лакировать революцию и ее героев. Высвечивая положительные качества революционеров, автор не скрывает и их примитивного «классового

сознания», бескомпромиссности, революционной жестокости к «классовым врагам» и «разложницам», презрения к «буржуазной» интеллигенции. Не скрывает, потому что считает все это достойными качествами. Во всяком случае во время революции.

В «Шторме» проявилось и удивительное подсознание автора, которое дало ему возможность подняться до предвидения будущего. Я имею в виду эпизод расстрела старого большевика Раевича, жившего до революции политэмигрантом во Франции, и его бред в момент психического срыва: «Жирондисты! Всюду жирондисты! Маски, всюду маски! Долой маски!». В этом эпизоде явно предугадывается 37-й год! И однажды я оказался свидетелем впечатляющей сцены. В кабинете отца на стене висели фотографии различных эпизодов из «Шторма», и как-то, глядя на фотографию сцены расстрела Раевича, он вдруг сказал: «Как гениален я был!».

Я спрашивал отца, как ему пришли в голову бред Раевича о жирондистах и сцена его расстрела? Отец задумался, но не нашел ясного ответа. В жизни такого эпизода он не знал.

И характерно, что сцена бреда и расстрела Раевича стала первой жертвой цензуры — в 1933 году при постановке «Шторма» в театре Ермоловой. Постепенно цензура вырубилась из пьесы около половины оригинального текста, который, увы, заменялся отцом на нечто приемлемое для цензуры. Делал он это в основном после войны, будучи уже сломленным человеком. Когда «Шторм» в последний раз возобновлялся Завадским в театре Моссовета, я на премьере просто не мог смотреть на сцену, смотрел себе под ноги и страдал от стыда за пьесу и отца. Отец же был доволен, что хоть и в таком виде пьеса была возобновлена.

В конце 20-х годов, когда руководители РАППа<sup>1</sup> предприняли атаку на отца, они писали, что Братишка и его создатель — не большевики, а анархисты. Правильно догадались, мерзавцы! Развивая наступление, они называли отца ни много ни мало «классовым врагом» и обратились к Сталину за санкцией на «оргвыводы по Билль-Белоцерковскому».

Почему они пошли против отца? Да потому, что он единственный из ведущих писателей того времени вышел в 1928 году из РАППа и осмелился его критиковать за то, что он своей «политической суетой и идеологическим начетничеством» мешал писателям работать. Отец считал РАПП «орудием бесталанных карьеристов», а его вождей называл «попыхачами». И руководители РАППа (Киршон, Афиногенов, Авербах, Ермилов) платили ему взаимностью.

Сталин тогда неожиданно для многих защитил отца. В ответном письме руководителям РАППа (от 28.2.1929) он писал: «Много ли у вас таких революционных драматургов, как т. Б.-Белоцерковский?... Неужели вы сомневаетесь, что ЦК не поддержит политики изничтожения Б.-Белоцерковского, проводимой «На литпосту» (главный орган РАППА. — В. Б.)? За кого же вы принимаете ЦК? Может быть, в самом деле поставить вопрос на рассмотрение ЦК? Подружески советую вам не настаивать на этом: невыгодно, — провалитесь наверняка».

Для отца это письмо в период ежовского террора сыграло, возможно, роль охранной грамоты. Хотя главной причиной того, что отец спасся от террора, я думаю, была его болезнь, из-за которой он ушел от активной деятельности, перестал сидеть в президиумах и на партсобраниях, никому не мешал.

---

<sup>1</sup>РАПП — Российская ассоциация пролетарских писателей, предшественница Союза советских писателей.

На исходе 30-х годов отец забросил драматургию: в театрах свирепствовала цензура, и у него уже не было сил заниматься пробиванием и постановкой пьес. Он коротал время писанием рассказов из своей зарубежной жизни, которые имели большую популярность. Среди них были очень хорошие, на мой взгляд, рассказы, если закрывать глаза на грубые пропагандистские пассажи, которые отец вставлял на всякий случай — для редакторов и цензуры. Слава богу, пассажей таких было не очень много. С начала войны отец уже вообще ничего не писал. Он как-то быстро состарился, одряхлел, а после XX съезда стал убеждать меня и всех, что теперь все будет хорошо.

Сейчас один из самых важных вопросов — это когда сломался народ в России, потеряв способность к самозащите, солидарности, объединению? Конечно, такое враз не случается, но все же часто можно выделить, определить какой-то отрезок времени, в течение которого был перейден незримый рубеж, или, как говорится, количество перешло в качество.

И я все время об этом думаю, и мы еще будем на эту тему говорить, но что касается отца, то слом у него произошел, видимо, в годы «ежовщины». Потом война добавила, потом — антисемитская кампания (имя отца тогда выбрасывали из учебников литературы: нежеже еврею быть основоположником советской драматургии!), и моя ситуация испугала, когда я сделался антисоветчиком и лишь чудом не попал в сталинские лагеря. Но решающий удар, я думаю, нанесла «ежовщина»: опрокинула веру отца в идеалы революции, социализма, за которые он боролся, и потрясла поведением людей, потерявших человеческий облик.

До «ежовщины» было еще и раскулачивание, и отец говорил, что оно произвело на него гнетущее впечатление, но деревня была далеко, и в 1929—1930 годах отец жил в Германии. Ну а «ежовщина» — это было раскулачивание, пришедшее в город!

Надломила отца и болезнь — артериосклероз, обостренная непонятно откуда взявшейся ипохондрией. Тут даже такая причина возможна. Чтобы добиться своей поразительной справки о «противопоказанности» для него партсобраний, отец, вероятно, должен был в той или иной степени, сознательно или непроизвольно, преувеличивать свою болезнь, что, как известно, имеет обратное воздействие. Когда приходится всем на вопрос, как ты себя чувствуешь, отвечать — плохо, то и начнешь себя чувствовать плохо! В 1940 году отец, когда ему было всего 55 лет, уже получил персональную пенсию по инвалидности. Здесь, я уверен, сказалось и то обстоятельство, что отец, проведший первую половину жизни в интенсивном физическом труде, затем резко перешел на сидячий образ жизни при напряженной умственной работе, не занимаясь никаким спортом — и это, конечно, плохо отразилось на его здоровье.

В результате от прежнего бесстрашного и заряженного энергией человека в последние 20–30 лет жизни ничего не осталось. Кто-то назвал жившего в нашем подъезде в Лаврушинском Константина Федина «чучелом орла». Увы, эта метафора подходила и к отцу. Сталинская жизнь испотрошила многих сильных людей, превращая их в чучела.

На меня эта метаморфоза, произошедшая с отцом, очень сильно подействовала. Глубоко в подсознание вошло стремление не уподобляться отцу, каким он стал в последний период его жизни, не сдаваться ни за что, не впадать в уныние. Ведь еще Фрейд говорил, что воспитание возможно и по принципу — не быть похожим в чем-то на любимого человека. И мне это, кажется, удалось.

У иного читателя может возникнуть вопрос, как я отношусь к Октябрьской революции и к тому, что отец активно участвовал в ней? Я хотел было поместить здесь две мои недавние статьи — о революции и роли Ленина, чтобы развернуто изложить мое отношение к этим предметам, но решил повременить: статьи слишком уж сегодняшние. Я дам их ближе к концу книги. А до той поры могу посоветовать перечитать предисловие: там в общих чертах говорится о моем отношении к Октябрьской революции.

И еще, для разрядки. Известный комментатор ОРТ и «черных» «Известий» Максим Соколов, отвечая на вопрос какой-то наивной читательницы: почему Россия никак не может избавиться от насилия — вначале вот была Октябрьская революция, а сейчас — война в Чечне? — ответил: «Эти события нельзя равнять между собой. Октябрьская революция была преступлением, а война в Чечне — тяжелая необходимость». Так вот я так не думаю. Думаю наоборот: чеченская война — преступление, а революция была в известном смысле тяжелой необходимостью!

И не думаю также, что революция эта и предшествовавшее ей многовековое социалистическое движение в мире — случайное, преходящее явление в истории, которое отгорело и о нем можно забыть или назвать преступлением. Оно, это явление, как я увидел на Западе, уже вновь возрождается, но в другом, более совершенном виде.

Так что я не осуждаю отца за его участие в «октябрьском преступлении». Я скорее горжусь этим, как и тем, что отец не принимал участия в сталинской контрреволюции.

Другое дело, что я, разумеется, считаю насильственные и неправовые методы борьбы, применявшиеся в России как революционерами, так и контрреволюционерами, в нынешнюю эпоху неприемлемыми. И они уже в мало-мальски цивилизованных странах не применяются. Примеры — свержение фашизма в Испании, Португалии, «коммунизма» — в Чехословакии, Венгрии, Польше. Образцы ненасильственных революций — это и Пражская весна, и победа польской «Солидарности» в августе 1980 года.